**АРХИВ**

**Вступительная статья,
подготовка текста
и републикация
Бориса ЛАНИНА**

**Уроки Владимира Васильевича Вейдле (1895–1979)**

**Выпускник Петербургского университета, Вейдле большую часть своей жизни провёл за границей. В 1922 году он выехал в Берлин, вернулся, а в 1924 уехал в Париж, чтобы никогда больше не уезжать из этого города.**

**По своему литературоведческому почерку он очень близок Степуну и Мочульскому. Вряд ли это случайно: с Ф.Степуном он сотрудничал в “Новом граде”, с К.Мочульским — в парижском Богословском институте (в 1932–1952 годах В.Вейдле был там профессором христианского искусства).**

**Вейдле был одним из крупнейших эмигрантских критиков. Автор наиболее авторитетной истории русской эмигрантской литературы Г.Струве называл его “самым ценным приобретением зарубежной литературной критики после 1925 года”. Образованность его была удивительной: он печатался на четырёх языках, был в курсе всех новейших течений в современном искусстве. На французском языке он печатался уже в 1930-х годах, а после войны Вейдле стал кавалером “Ордена литературных заслуг”, а также получил Риварольевскую литературную премию.**

**Вейдле не принимал революционных изменений в России. Революция для него была катастрофой — политической и культурной, в результате чего оказалось попранным понимание гуманизма. Правда, произошло это ещё раньше, в XIX веке, когда “лицо” сменилось “типом”: это и превратило роман в своего рода социологический трактат.**

**Разделение русской литературы на советскую и эмигрантскую для него было гораздо менее важным, чем конфликт между “традиционным” и “новым”. Только религиозное возрождение, по мнению Вейдле, могло спасти искусство. Именно эта мысль одна из главных в наиболее известной работе Вейдле “Умирание искусства” (1937, переиздание: СПб., 1996).**

**Выдающаяся работа Вейдле “О поэтах и поэзии” вобрала в себя основные публикации критика о поэзии XX века. Он также принимал участие в публикации знаменитых собраний сочинений Н.С. Гумилёва и О.Э. Мандельштама.**

**Сам критик был скорее “традиционалистом”: отстаивал суверенность искусства, в литературе выступал за гуманизм и самовыражение художника, в поэзии — за “звукосмысл”. По-настоящему косным он считал и в XX веке и в XIX “самодовольно-захолустное шестидесятничество”: ведь оно было позитивистским и обличительным и, стало быть, сковывало художника.**

**Последняя любовь Тютчева**

Ничто не способно биографа так увлечь, как история любви или влюблённости его героя, хотя очень часто истории эти ничему пищи не дают, кроме неумного любопытства и вялого сочувствия. Конечно, в любви раскрываются глубочайшие недра человеческой личности, но не во всякой любви, и редко удаётся нам заглянуть в чужую любовь так глубоко, чтобы и для нас в ней что-либо раскрылось. Есть, правда, письма Китса к Фанни Браун и самой жизнью рождённая трагедия Гёльдерлина и его Диотимы; есть поразительный в своей законченности роман Жорж Санд и Мюссе и “образцовая” любовь Браунинга и Елизаветы Баррет. Есть и у нас история женитьбы и смерти Пушкина, да ещё вот эта, названная им последней, тютчевская любовь, значительная именно тем, что в ней он сказался весь, сказался так, как больше ни в чём другом из того, что мы знаем о его жизни. Тютчев неуловим; и если в чём-нибудь можно почувствовать его, так это в этой поздней, тяжёлой, изнуряющей любви, начавшейся бурно и кончившейся так грустно. Однако чтобы понять эту любовь и то, что она значила для него, нужно вспомнить и кое о чём, что было пережито им до знакомства с Еленой Александровной Денисьевой.

Сохранились отзывы о Тютчеве его детей. Из них самые интересные два: его старшей дочери от первого брака Анны и сына его от Елены Александровны Фёдора. Анна Фёдоровна писала о нём сестре в 1854 году: “Он мне представляется одним из тех безначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души. Он совершенно вне всяких законов и правил. Он поражает воображение, но в нём есть что-то жуткое и беспокойное. Сегодня он показался мне ещё более странным, чем всегда, и особенно смутил меня...” Фёдор Фёдорович, потерявший отца в тринадцать лет, руководясь семейным преданием, говорил, что ему было свойственно “какое-то особенное, даже редко встречающееся в такой степени, обожание женщин и преклонение перед ними”. В своих отношениях к ним, по словам сына, он “походил больше на жреца, преклоняющегося перед своим кумиром, чем на счастливого обладателя”. Оба эти свидетельства подтверждаются другими данными, и между ними есть внутренняя связь. Тютчев не был “обладателем”, но и им нельзя было обладать. Елена Александровна говорила ему: “Ты мой собственный”, — но, вероятно, именно потому, что ни её, ни чьей другой он не был, и по самой своей природе быть не мог. Отсюда то пленительное, но и то “жуткое и беспокойное”, что в нём было: и в самой страсти неутрачиваемая духовность, и в самой нежности всё же нечто вроде отсутствия души.

В стихотворении “Не верь, не верь поэту!”, написанном ещё в тридцатых годах, читаем:

*Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесёт за облака.*

Некоторое расстояние должно было всегда чувствоваться, некоторая отчуждённость, отъединённость. И вместе с тем у самого Тютчева была огромная потребность в любви, но потребность не столько любить, сколько быть любимым. Без любви нет жизни; но любить для него — это узнавать, находить себя в чужой любви. В стихотворении 30-го года “Сей день, я помню, для меня был утром жизненного дня...” поэт видит новый мир, для него начинается новая жизнь не потому, что он полюбил, как для Данте — incipit vita nova, — а потому, что

*Любви признанье золотое
Исторглось из груди её,*

то есть мир преобразился в ту минуту, когда поэт узнал, что он любим. При таком переживании любви неудивительно, что любившие Тютчева оставались неудовлетворёнными его любовью; неудивительно и то, что для него существовала верность, не исключавшая измены, и измена, не исключавшая верности. Однажды осуществившаяся близость уже не исчезала больше из его памяти и воображения, но потребность в любви, в чужой любви к нему, была так неиссякаема, так ненасытна, что Тютчев искал всё новых близостей. Тема неверной верности и любви других к нему проходит через всю его жизнь и получает отражение в его поэзии.

Первое увлечение Тютчева, о котором нам известно, относится к началу мюнхенского периода его жизни, вероятно, к 1834 году, когда ему было немногим больше двадцати лет, а графине Амалии Максимилиановне фон Лерхенфельд всего шестнадцать. Впоследствии она вышла замуж за первого секретаря посольства в Мюнхене бар. Крюднера, а после его смерти за финляндского генерал-губернатора гр. Адлерберга. В стихах, обращённых к ней (“К Н.”), уже подчёркнут мотив её любви:

*Твой взор живёт и будет жить во мне...*

Дружеское отношение к ней со следами былой влюблённости сохранилось на всю жизнь. Это она в 36-м году привезла в Петербург рукопись стихотворений Тютчева, которая была послана князем Гагариным Вяземскому для пушкинского “Современника”. Позже он запрашивал о ней родителей, писал, что считает её несчастливой в замужестве. После возвращения в Россию виделся с ней в Петербурге. В Карлсбаде в 1870 году, повстречав её, он написал “Я встретил вас, и всё былое...” — стихи, кончавшиеся так:

*Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь...*

В то лето им было обоим за шестьдесят.

В 1826 году в Мюнхене Тютчев женился на Эмилии-Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер (её первый муж был чиновником русской службы, и сыновья от первого брака жили в России). Кое-что мы знаем о ней по письмам к брату и родителям Тютчева, изданным, к сожалению, лишь в отрывках. У неё были пышные светлые волосы и не очень гибкий стан, но слыла она красавицей. Гейне восхищался ею и, по-видимому, был влюблён в её сестру. Тютчев был глубоко ей предан и привязан к ней, хотя за двенадцать лет их совместной жизни у него бывали и другие увлечения. Кризис его отношений с женой наступил в 1836 году. В начале этого года в Мюнхене произошло нечто, в результате чего Элеонора Фёдоровна, или, как её звали в семье, Нелли, нанесла себе несколько ударов в грудь маленьким кинжалом, оставшимся, по словам Тютчева, “от прошлогоднего маскарада”, а затем в полубезумном состоянии выбежала на улицу, где её встретили и привели к себе жившие неподалёку друзья. Тютчев рассказал об этом в письме к Гагарину, усердно прося его объявить друзьям, что происшествие произошло не по каким-нибудь романическим причинам, а единственно вследствие сильного прилива крови к голове, объясняемого в свою очередь тем, что Элеонора Фёдоровна незадолго до того отняла от груди последнего ребёнка. Но дело было, вероятно, серьёзней: это видно из самого тона тютчевского письма. Мы знаем, кроме того, что в ту зиму он познакомился с баронессой Эрнестиной Фёдоровной Дернберг, урождённой Пфеффель, полуфранцуженкой из Эльзаса, которой суждено было стать его второй женой; знаем также, что Нелли хлопотала о командировке её мужа, дабы он мог уехать из Мюнхена, и писала родителям его о собственном желании покинуть Мюнхен и уехать в Россию. Её письма того года не раз настаивают на том, что ей необходимо покинуть Мюнхен. На следующий год, в мае месяце, Тютчев и в самом деле отвёз жену в Россию, а сам вернулся в августе за границу старшим секретарём русской миссии в Турине. В конце ноября в Геную на свидание с ним приезжала Эрнестина Дернберг. Об этом свидетельствуют найденные среди её бумаг после смерти два засушенных цветка — бессмертник и анютины глазки с надписью на бумажке “Cenes. December. 1837”. Предполагалось, что свидание это будет последним. О нём говорят стихи:

*Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости —
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, её испепелило
В твоей измученной груди!*

*Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.*

Заметим, что и здесь речь идёт не о *моём* страдании, а о *твоём*, не о *моей* любви, а о *твоей* любви ко мне.

Через пять месяцев, в мае 1838 года, Нелли с детьми выехала на пароходе “Николай I” из Петербурга в Любек. Она держала себя геройски во время кораблекрушения, вызванного ночным пожаром и описанного впоследствии Тургеневым, ехавшим на том же пароходе. Проболев три месяца, она умерла в Турине 27 августа 1838 года. По семейному преданию, Тютчев поседел за ночь, проведённую у мёртвого тела жены. К горю его примешивалось, должно быть, и раскаяние. 6 октября он писал Жуковскому: “Есть ужасная година в существовании человеческом. Пережить всё, чем мы жили в продолжение целых двенадцати лет... что обыкновеннее моей судьбы и что ужаснее? Всё пережить и всё-таки жить... Есть слова, которые мы всю жизнь употребляем, не понимая, и вдруг поймём...” Однако через неделю, повстречавшись с ним на одном из верхнеитальянских озёр, Жуковский записал в свой дневник: “Во время плавания рисование и приятный разговор с Тютчевым. Глядя на север озера, он сказал: “За этими горами Германия”. Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблён в Мюнхене”. Действительно, помолвка с Эрнестиной Фёдоровной состоялась в Генуе, по-видимому, ещё в конце того же или в начале следующего года. 1 марта Тютчев испрашивал у своего начальства отпуск и разрешение жениться на баронессе Дернберг. Разрешение он получил, но отпуска ему не дали вследствие отлучки русского посланника в Турине, которого он должен был заменять. В мае Тютчев провёл недели две или три в обществе баронессы и её брата. Отпуска ему всё не давали. Тогда он решился на рискованный шаг и в июле без разрешения уехал в Берн, где в часовне при русском посольстве и был обвенчан с Эрнестиной Фёдоровной. Ждать дольше было и в самом деле неудобно; первый ребёнок от нового брака родился 23 февраля.

Всё-таки через десять лет после смерти Нелли память о ней была ещё жива. Тогда были написаны стихи:

*Ещё томлюсь тоской желаний,
Ещё стремлюсь к тебе душой,
И в сумраке воспоминаний
Ещё ловлю я образ твой,
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда.*

Эрнестина Фёдоровна была женщина умная, уравновешенная, твёрдого характера. Она выучилась по-русски, чтобы читать стихи мужа, но даже на смертном одре Тютчев пришёл в ярость от того, как она записала продиктованное им стихотворение. В отличие от её предшественницы, её как-то неловко называть уменьшительным именем: Нетти. Её, кажется, мало любили; доброта и сердечность её, по-видимому, прикрывались некоторым холодком, а может быть, и скукой. Она воспитала дочерей своего мужа от первого брака и дала ему ещё троих детей. В 1844 году Тютчевы переехали в Россию, а к последующим годам относится кратковременная, вероятно, связь Тютчева с некоей г-жой Лапп, эльзаской, с которой он познакомился в Страсбурге. На старости лет она сошла с ума, и в 1900 году Лев Толстой получил от неё из Вены чрезвычайно странное письмо. Однако некоторые факты, упомянутые в нём, неоспоримы. По-видимому, Тютчев имел от неё двоих детей. Известно во всяком случае, что Эрнестина Фёдоровна отказалась после смерти мужа от причитавшейся ей пенсии в пользу г-жи Лапп. Когда именно она узнала об этой связи — неизвестно. Тютчев всем этим глубоко захвачен не был; его отношения с женой были дружескими и сердечными, но особого огня в них незаметно. Об остальном мы не знаем ничего.

В эти годы чувствовал он себя плохо — и физически, и душевно. Привыкнуть к русской жизни было нелегко. К начинавшейся литературной известности он был равнодушен. Всё чаще приходили мысли о смерти, уже не оставлявшие его до конца. Он ощущал себя постаревшим. Ему казалось, что жизнь кончилась. Тогда-то и пришла в неё та любовь, которую он назвал сам последней.

Две младшие дочери его от первого брака, Дарья и Екатерина, учились в Смольном институте. Одной из его инспектрис состояла уже с давних пор Анна Дмитриевна Денисьева. В её доме в 1850 году Тютчев встретился с племянницей её, Еленой Александровной Денисьевой, Лёленькой, как звали её близкие. Денисьевы были дворянского рода, дед Елены Александровны ещё владел поместьями, а отец разорился и служил исправником где-то вдалеке. Мать рано умерла, и воспитывала её тётка, которую она называла maman. В ту пору ей было двадцать четыре года, а Тютчеву сорок семь. По-видимому, встреча их тотчас привела к любви, а любовь очень быстро перешла в связь. Передают, что Тютчев увёз Елену Александровну с бала. Во всяком случае мы знаем точную дату, когда начался этот роман. Через год после смерти Елены Александровны Тютчев вспоминал:

*Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.*

Эти стихи помечены 15 июля 1865 года.

Сохранилось три портрета Елены Александровны. У неё были тёмные волосы, причёсанные на прямой пробор, узкое лицо, глубоко запавшие чёрные глаза.

*В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалося горе,
Такая страсти глубина.*

*Дышал он грустный, углублённый
В тени ресниц её густой,
Как наслажденье утомлённый
И как страданье роковой*

Когда смотришь на её портреты, особенно на дагерротип, снятый, должно быть, ещё до встречи с Тютчевым, не сомневаешься, что эти стихи относятся к ней. В её худощавом, смуглом лице есть что-то обуглившееся, сожжённое. Бывают такие русские лица: в них одновременно упрямство и обречённость, беззаветность и упрёк. Елена Александровна ничего не рассчитала, ни о чём не пожалела, ничего не сохранила для себя. Она называла Тютчева “ты мой собственный”. И она же называла его “мой Боженька” и ещё “mon Luis XIV inamusable”. Её отношение к Тютчеву приближается к тому, что один французский писатель назвал абсолютом человеческой любви. Такая любовь не может не быть страдальческой любовью, а в данном случае страдание было предопределено уже тем, что для Тютчева оказалось невозможным бросить семью, разойтись с Эрнестиной Фёдоровной.

*Всё, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры и любви,
В одну молитву всё слилось:
Переживи, переживи!*

Стихи эти обращены к жене; а с чем они умоляют её примириться — это связь Тютчева с Еленой Александровной. Для него началась мучительная двойная жизнь на два дома, на две семьи, а для неё — мука ещё куда горшая. И на него смотрели косо; ей же пришлось прекратить знакомство с большинством прежних друзей, выслушивать укоры, терпеть обидное снисхождение. Но мучило её не только это: она сомневалась в тютчевской любви. То, что она переживала, пережил и Тютчев, как поэт; он *от её имени* написал пронзающие душу всем памятные стихи; но исцелить эту рану был не в силах.

20 мая 1851 года у Елены Александровны родилась дочь Лёля. Позже она родила Тютчеву ещё двух сыновей: Фёдора в 60-м году и умершего в младенчестве Колю — в 63-м. К рождению дочери относятся стихи, впервые напечатанные всего несколько лет тому назад (статья написана в 1948 году. — **ред.**):

*Не раз ты слышала признанье:
“Не стою я любви твоей”.
Пускай моё она созданье —
Но как я беден перед ней...*

*Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...*

*Когда порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,*

*Где спит****она****— твоё рожденье —
Твой безымянный херувим, —
Пойми ж и ты моё смиренье
Пред сердцем любящим твоим.*

Тютчев всё тот же — для него есть только её любовь, свою он умаляет сам, но от этого не легче Елене Александровне. В эти годы, пока продолжалась их связь, он не изменился. Он постоянно бывает в “свете”, ездит за границу, иногда с Еленой Александровной, а иногда с женой, скучает по жене и дочерям, когда он с ними разлучён, встречается с баронессой Крюднер, самым старинным увлечением своим, и пишет мадригалы племяннице Горчакова Н.С. Акинфиевой. Политика по-прежнему составляет главный интерес его жизни. Порой Елена Александровна не выдерживает его рассеянности, его “отсутствия”; дело доходит до объяснений, истерик, тяжких ссор. Муж её сестры А.А. Георгиевский передаёт, что однажды, будучи в гостях у свояченицы, он заметил, что из печки выпал изразец. Тютчев поспешил замять разговор на эту тему, а когда Елена Александровна вышла из комнаты, объяснил, что это она, в порыве гнева, бросила ему в голову пресс-папье. По счастливой случайности пострадала одна печка. Всего лучше вырисовывается вся сложность этих отношений в письме, посланном Тютчевым Георгиевскому через несколько месяцев после смерти Елены Александровны:

“Вы знаете, как при всей своей высокопоэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, она в грош не ставила стихов, даже и моих, и только те из них ей нравились, где выражалась моя любовь к ней, выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила, чтобы целый мир узнал, чем она [была] для меня: в этом заключалось её высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души её... Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своём, чтобы я серьёзно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что как отрадно было бы для неё, если бы во главе этого издания стояло её имя (не имя, которого она не любила, *но она*), и что же — поверите ли Вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с её стороны подобное требование *не совсем великодушно*, что, зная, до какой степени я весь её (“ты *мой собственный*”, как она говорила), ей нечего, незачем было желать и ещё других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком Вам известных, которые всё больше и больше подтачивали её жизнь и довели нас — её до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке. О! Как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моём тупом непонимании того, что составляло жизненное для неё условие! Сколько раз она говорила мне, что придёт для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал; я, вероятно, полагал, что как её любовь была беспредельна, так и жизненные силы её неистощимы, и так пошло, так подло на все её вопли и стенания отвечал ей этою глупою фразою: “Ты хочешь невозможного””. Права ли была Елена Александровна или нет, — мучения были несомненны.

Так прошло четырнадцать лет. Под конец Елена Александровна много хворала (она была туберкулёзна). Сохранились её письма к сестре, относящиеся к последним полутора годам её жизни. В них-то она и называет Тютчева “мой Боженька”, в них и сравнивает его с неразвлекаемым французским королём. Из них явствует также, что в последнее лето её жизни дочь её Лёля почти каждый вечер ездила с отцом кататься на Острова. Он угощал её мороженым; они возвращались домой поздно. Елену Александровну это и радовало и печалило: она оставалась в душной комнате одна или в обществе какой-нибудь сердобольной дамы, вызвавшейся навестить её. В то лето Тютчев особенно хотел уехать за границу, тяготился Петербургом; это мы знаем из его писем к жене. Но тут и постиг его тот удар, от которого он уже не оправился до смерти.

При жизни Елены Александровны жертвою их любви была она; после её смерти жертвою стал Тютчев. Быть может, он любил её слишком мало, но без её любви он жить не мог. Мы точно слышим, как он говорит: “Твоя любовь, твоя, а не моя, но без этой твоей нет жизни, нет и самого меня”. У Китса было прозрение о том, что поэту свойственно быть лишённым ясно очерченной, выпуклой личности; к Тютчеву это приложимо больше, чем к какому-либо другому из русских поэтов. Ещё в 51-м году он жаловался жене: “Я чувствую, что мои письма самые пошло-грустные. Они ничего не говорят и похожи на окна, замазанные летом, сквозь которые ничего не видно и которые свидетельствуют об отъезде и отсутствии. Вот в чём несчастие быть так вполне лишённым личности”. Гораздо позже, через три года после смерти Елены Александровны, он написал другому корреспонденту: “Благодаря моей малоэнергичной и неустойчивой личности, мне кажется, что нет ничего естественней, чем потерять меня из виду”. А через два месяца после её смерти он дал в письме к Георгиевскому ключ ко всей своей судьбе: “Только при ней и для неё я был личностью, только в её любви <...> я сознавал себя”.

Елена Александровна умерла в Петербурге или на даче под Петербургом 4 августа 1864 года. Похоронили её на Волковом кладбище. На её могиле стоял крест, ныне сломанный, с надписью, состоявшей из дат рождения и смерти и слов: “Елена — верую, Господи, и исповедую”. О её предсмертных днях и часах и об отчаянии Тютчева говорят стихи:

*Весь день она лежала в забытьи —
И всю её уж тени покрывали —
Лил тёплый, летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.*

*И медленно опомнилась она —
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу...*

*И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила:
(Я был при ней, убитый, но живой)
“О, как всё это я любила!”*

*Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому ещё не удавалось —
О Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...*

В день после похорон Тютчев писал Георгиевскому: “Всё кончено... Вчера мы её хоронили... Что это такое? Что случилось? О чём это я Вам пишу — не знаю... Во мне всё убито: мысли, чувства, память, всё... Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то... Сердце пусто, мозг изнеможён. Даже вспомнить о ней, вызвать её живую в памяти, как она была, глядела, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо... Писать более не в силах, да и что писать?..”

Через пять дней он писал ему же: “О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше. Благодарю, от души благодарю Вас. Авось <...> удастся Вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моём теперешнем положении это то, что я с всевозможным напряжением мыслей, неотступно, неослабно, всё думаю о ней, и всё-таки не могу уловить её... Простое сумасшествие было бы отраднее... Но... писать об этом я всё-таки не могу, не хочу; как высказать этакий ужас...”

К этому же времени относится, вероятно, отрывок из письма к неизвестному адресату, сообщённый в своё время Ф.Ф. Тютчевым, сыном Елены Александровны: “Моё душевное состояние ужасно. Я изнываю день за днём всё больше и больше в мрачной бездонной пропасти... Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего больше не существует. То, что я чувствую, невозможно передать словами, и если бы настал мой последний день, то я приветствовал бы его, как день освобождения... Дорогой друг мой, жизнь здесь на земле невозможна для меня. И если “она” где-нибудь существует, она должна сжалиться надо мной и взять меня к себе...”

Фет посетил Тютчева в те дни и так рассказал об этом в своих воспоминаниях: “Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в тёплой комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою тёмно-серым пледом, из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел”.

Оставаться в Петербурге было невозможно. Тютчев хотел было поехать к Георгиевским в Москву, но передумал, быть может, вследствие зова жены, и в конце месяца выехал к ней за границу. Через Германию, несколько раз останавливаясь в пути, он поехал в Швейцарию, а оттуда — на французскую Ривьеру. Тургенев, повидавший его в Бадене, писал графине Ламберт: “Я видел здесь Ф.И. Тютчева, который очень горевал, что не свиделся с Вами. Состояние его весьма тягостно и печально. Вы, вероятно, знаете почему”.

Вспоминая об этом времени, Анна Фёдоровна записала позже в своём дневнике: “Я причащалась в Швальбахе. В день причастия я проснулась в шесть часов утра и встала, чтобы помолиться. Я чувствовала потребность молиться с особенным усердием за моего отца и за Елену Д. Во время обедни мысль о них снова явилась мне с большой живостью. Несколько недель спустя я узнала, что как раз в этот день и в этот час Елена Д. умерла. Я увиделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии, близком к помешательству. Какие дни нравственной пытки я пережила! Потом я встретилась с ним снова в Ницце, тогда он был менее возбуждён, но всё ещё повергнут в ту же мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего проблеска стремления к чему-либо небесному. Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, всё увеличиваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешениям религии и доводило его, по природе ласкового и справедливого, до раздражения, колкостей и несправедливости по отношению к его жене и ко всем нам. Я видела, что моя младшая сестра, которая теперь при нём, ужасно страдала. Сколько воспоминаний и тяжёлых впечатлений прошлого воскресло во мне! Я чувствовала себя охваченною безысходным страданием. Я не могла больше верить, что Бог придёт на помощь его душе, жизнь которой была растрачена в земной и незаконной страсти”.

В начале октября из Женевы Тютчев писал Георгиевскому: “...Память о ней — это то, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живётся, мой друг Александр Иванович, не живётся... Гноится рана, не заживает. Будь это малодушие, будь это бессилие, мне всё равно. Только при ней и для неё я был личностью, только в её любви, её беспредельной ко мне любви я сознавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество. Может быть и то, что в некоторые годы природа в человеке теряет свою целительную силу, что жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться. Всё это может быть; но поверьте мне, друг мой Александр Иванович, тот только в состоянии оценить моё положение, кому из тысячи одному выпала страшная доля — жить четырнадцать лет сряду, ежечасно, ежеминутно, такою любовью, как её любовь, и пережить её... Теперь всё изведано, всё решено; теперь я убедился на опыте, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит. Чего я ни испробовал в течение этих последних недель: и общество, и природа, и, наконец, самые близкие родственные привязанности; Саша (кн. А.М. Мещерская), её участие в моём горе. Я готов сам себя обвинять в неблагодарности, в бесчувственности, но лгать не могу: ни на минуту легче не было, как только возвращалось сознание. Все эти приёмы опиума минутою заглушают боль, но и только. Пройдёт действие опиума, и боль всё та же...”

Душевное состояние Тютчева, как это видно из записей его старшей дочери, не могло не огорчать и не раздражать членов его семьи. Однако Дарья Фёдоровна вряд ли была права, когда писала в ноябре из Ниццы своей младшей сестре в Москву: “У папы здоровый вид. Он уходит из дому на целый день. Когда он не думает*об этом*, он развлекается. Впрочем, он хочет казаться печальным...” Тютчев действительно пытался развлечься. В Лозанне, в Уши, в Монтрё он посещал друзей, ходил на лекции и в театр, из Женевы ездил с большой компанией в Ферней. Берега Женевского озера были ему издавна милы. Но забыть “об этом” было не так легко. Однажды, вернувшись домой с проповеди епископа Мермийо, он продиктовал младшей дочери, Марии, той самой, о которой упоминает Анна Фёдоровна и дневнику которой мы обязаны сведениями о времяпрепровождении Тютчева за границей, стихи:

*Утихла биза... Легче дышит
Лазурный сонм женевских вод —
И лодка вновь по ним плывёт,
И снова лебедь их колышет.*

*Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой —
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.*

*А там, в торжественном покое,
Разоблачённая с утра, —
Сияет Белая Гора,
Как откровенье неземное.*

*Здесь сердце так бы всё забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...*

По дороге из Женевы в Ниццу Тютчев осматривал Лион, Марсель, Тулон, Канн. В Ницце старался развлечься, как и в Женеве, катался по окрестностям, виделся с многочисленными знакомыми и друзьями. Но восьмого декабря писал Полонскому: “Друг мой Яков Петрович. Вы просили меня в Вашем письме, чтобы я писал Вам, когда мне будет *легче*, и вот почему я не писал к Вам до сегодня. Зачем я пишу к Вам теперь, не знаю, потому что на душе *всё то же*, а что это — то же — для этого нет слов. Человеку дан был крик для страдания, но есть страдания, которых и крик вполне не выражает... С той минуты, как я прошлым летом встретил Вас в Летнем саду и в первый раз высказался перед Вами о том, что мне претило, и до сей минуты, если б год тому назад всё мною пережитое и перечувствованное приснилось мне с некоторою живостью, то, мне кажется, я, не просыпаясь, тут же на месте и умер от испуга. Не было, может быть, человеческой организации лучше устроенной, чем моя, для полнейшего восприятия известного рода ощущений. Ещё при её жизни, когда мне случалось при ней, на глазах у неё, живо вспомнить о чём-нибудь из нашего прошедшего, я помню, какою страшною тоскою отравлялась тогда вся душа моя, и я тогда же, помнится, говорил ей: “Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания — всё это, что и теперь, уже теперь так страшно, — придётся одному из нас повторять одинокому, переживши другого”, — но эта мысль пронизывала душу и тотчас же исчезала. А теперь? Друг мой, теперь всё испробовано, ничто не помогло, ничто не утешило, не живётся, не живётся... Одна только потребность ещё чувствуется, поскорей торопиться к вам, туда, где ещё что-нибудь от неё осталось, дети её, друзья, весь её бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но всё это так живо, так полно ею, так, что за тот бы день, прожитый с нею, тогдашнею моею жизнью, я охотно бы купил, но ценою — ценою чего? Этой пытки, ежеминутной пытки, этого удела, чем стала теперь для меня жизнь... О, друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело, я знаю, часть этого Вы на самом себе испытали, часть, но не всё. Вы были молоды, Вы не четырнадцать лет... (у Тютчева не дописано. — ред.) Ещё раз меня тянет в Петербург, хоть я и знаю и предчувствую, что и там... но не будет по крайней мере того страшного раздвоения в душе, какое здесь. Здесь даже некуда и приютить своего горя... Мне бы почти хотелось, чтобы меня *вытребовали* в Петербург именем нашего комитета, к чему, кажется, есть и причина — вследствие нездоровья Комаровского, — что он, бедный? Очень, очень отрадно будет мне с Вами увидеться, милый мой Яков Петрович. Скажите то же от меня и Майкову. Обоих вас от души благодарю за вашу дружбу и много, много дорожу ею... Господь с Вами. Простите и до близкого свидания. *Ф.Тютчев*”.

Через два дня он пишет Георгиевскому: “Друг мой Александр Иванович! Роковая была для меня та минута, в которую я изменил своё намерение ехать с Вами в Москву... Этим я себя окончательно погубил. Что сталось со мною? Чем [стал] я теперь? Уцелело ли что от того прежнего меня, которого Вы когда-то, в каком-то другом мире, там, при ней, знали и любили, — не знаю. Осталась обо всём этом какая-то жгучая, смутная память, но и та часто изменяет, одно только присуще и неотступно — это чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты. О, как мне самого себя страшно... Но погодите... Я теперь продолжать не в состоянии. Сколько времени я носился и боролся с мыслью, писать ли к Вам или нет... Горе, подобное моему, это та же *проказа*. И нуждаешься в людях и дичишься людей. Невольно чувствуешь, что нельзя, не должно, не позволительно приближаться к ним, рассчитывать на их сострадание, что есть такие болезни, которые просто отталкивают участие и должны замкнуться и совершить до конца свой процесс внутри человека...”

В конце ноября или в декабре были написаны стихи:

*О, этот юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
— Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полёта, ни размаху —
Висят поломанные крылья —
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...*

Это и два предшествующих стихотворения Тютчев послал в начале декабря Георгиевскому. “Вы знаете, — писал он, — как я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою своих язв сердечных. Боже мой, Боже мой. Да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, — этою жизнью, которою вот уже пятый месяц я живу и о которой столько же мало имею понятия, как о нашем загробном существовании, и она-то — вспомните же, вспомните о ней, она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно, она же обрекла теперь меня на эти невыразимые адские муки...” Далее идёт ранее приведённый нами рассказ о ссоре с Еленой Александровной, объясняющий желание Тютчева опубликовать посвящённые её памяти стихи.

В конце января Тютчев был, по свидетельству дочери, нездоров и полон грустных предчувствий. Средиземное море не могло исцелить его печаль. В начале февраля он выдал дочь замуж, а через месяц выехал с женой в Россию. По дороге он остановился на десять дней в Париже, виделся там с друзьями, обедал с Герценом (который писал Огарёву: “Тютчев ещё больше мёд и млеко”) и ещё раз говорил о своём горе с Тургеневым, вспоминавшим позже: “Мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал всё время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшею от падавших на неё слёз...”

В последних числах марта, всё ещё в очень подавленном состоянии духа, он вернулся в Петербург. Здесь с него потребовали стихов по случаю сотой годовщины со дня смерти Ломоносова, исполнявшейся 4 апреля, и он накануне этого дня переслал их Майкову с припиской: “Вот вам, друг мой Аполлон Николаевич, несколько бедных рифм для вашего праздника, в теперешнем моём расположении не могу больше”. Вскоре должна была его постигнуть новая утрата. Туберкулёзом, унаследованным от матери, заболела старшая дочь Елены Александровны Лёля, носившая фамилию отца, как и её два брата (все трое были усыновлены Тютчевым с согласия его жены). Девочке шёл четырнадцатый год. Зимой, когда Тютчев был за границей, случилась неприятность, тяжело отозвавшаяся на её здоровье. На приёме в известном пансионе Труба, где она воспитывалась, какая-то незнакомая с семейными обстоятельствами Тютчева дама спросила её, как поживает её maman, имея в виду Эрнестину Фёдоровну. Когда Лёля Тютчева поняла причину недоразумения, она убежала от г-жи Труба к А.Д. Денисьевой и объявила, что в пансион больше не вернётся. У неё сделался нервный припадок, а к весне обнаружилась скоротечная чахотка, 2 мая она умерла, и в тот же день умер её маленький брат Коля, которому не было ещё и года. Один лишь пятилетний Федя выжил и на много лет пережил отца.

Два года спустя совсем по другому, не касавшемуся его лично поводу Тютчев писал жене: “Вот разница между ранами физическими и духовными: первые складываются одна с другой, тогда как вторые чаще всего исключают друг друга”. Быть может, мысль эта явилась плодом собственного его опыта, того, что было пережито той весной, после возвращения из Ниццы в Петербург. Можно предположить, что эта новая двойная утрата не столько стала для Тютчева новым горем, сколько углубила и продлила старое. В эти дни он написал “Певучесть есть в морских волнах...”. П.В. Быков, видевший его тогда же, вспоминал через полвека: “Тютчев в то время был страшно удручён потерями дочери и особы, горячо им любимой. Я выразил ему моё соболезнование. Он почти со слезами благодарил меня и сказал: “Нет пределов моему страданию, и нет выше моей любви к той, которая дала мне столько счастья. Испытали ли вы такое состояние, когда всё существо проникается, каждая вена, этим всеобъемлющим чувством? “И если загробная жизнь нам дана”, как говорит Баратынский, я утешаю себя только загробным свиданием... Но ведь это утешение всё-таки не примиряет с действительностью...”” Тогда же писал он Полонскому в ответ на его стихи:

*Нет боле искр живых на голос твой приветный —
Во мне глухая ночь и нет для ней утра...
И скоро улетит — во мраке незаметный —
Последний, скудный дым с потухшего костра.*

Правда, через неделю после этих строк было написано мадригальное стихотворение, посвящённое Н.С. Акинфиевой, но оно свидетельствует лишь о той потребности в обществе, особенно женском, которое Тютчева никогда не покидало. Под этим покровом нежности, общительности, разговорчивости продолжала зиять полная опустошённость, получившая самое глубокое своё выражение в стихах “Есть и в моём страдальческом застое...”. Мертвенность души, тупая тоска, невозможность осознать самого себя противопоставлены в них жгучему, но живому страданию, точно так же, как при жизни Елены Александровны противопоставлялось могущество её любви той неспособности любить, которую испытывал поэт, когда сознавал себя “живой души твоей безжизненным кумиром”.

В конце июня он пишет М.А. Георгиевской: “Я должен признаться, что с той поры не было ни одного дня, который я не начинал бы без некоторого изумления, как человек продолжает ещё жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце”. Две годовщины помянул он тем летом скорбными стихами: 15 июля в Петербурге написал “Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...”, а 3 августа в Овстуге:

*Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?*

*Всё темней, темнее над землёю —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?*

*Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?*

В этом месяце Тютчеву было особенно тяжело. Близкие отмечают его раздражительность: ему хотелось, чтобы они выказывали больше участия к его горю. 16 августа он пишет М.А. Георгиевской: “Мои подлые нервы до того расстроены, что я пера в руках держать не могу...”, а в конце сентября ей же из Петербурга: “Жалкое и подлое творение человек с его способностью всё пережить”, но сам он полгода спустя в стихах к гр. Блудовой скажет, что “пережить — не значит жить”. “Нет дня, чтобы душа не ныла...” написано в том же году поздней осенью. Следующей весной Тютчев не хотел ехать за границу и писал Георгиевским: “Там ещё пустее. Это я уже испытал на деле”. Летом того же года он жаловался из Царского жене: “Я с каждым днём становлюсь всё несноснее, моему обычному раздражению способствует немало та усталость, которую я испытываю в погоне всеми способами развлечься и не видеть перед собой ужасной пустоты”.

Конечно, время, как принято выражаться, “делало своё дело”. Прошёл ещё год. Упоминание о Елене Александровне в переписке исчезает. Но известно, что осенью этого года на одном из заседаний Совета Главного управления по делам печати, которого он состоял членом, Тютчев был весьма расстроен и что-то рисовал или писал карандашом на листке бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушёл в раздумье, оставив листок. Один из его сослуживцев, гр. Капнист, заметил, что вместо деловых заметок там были стихотворные строчки. Он взял листок и сохранил его на память о Тютчеве:

*Как ни тяжёл последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, —
Но для души ещё страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья.*

Прошла ещё одна петербургская зима, потом весна... В июне Тютчев написал:

*Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.*

*Нет искр в небесной синеве,
Всё стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится бледное сиянье.*

*Во сне ль всё это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?*

Понимать это следует буквально. Ему не хватало жизни, и ему оставалось не долго жить.

**Печатается по: Новый журнал. 1948. № 18. С. 181–200.**

\* \* \*

**Фрагменты из книги:
“После “Двенадцати”:
приношение кресту на могиле Александра Блока”.**

**Сумбур**

Музыка стихов не может обойтись без смысла, раз они рождены словом и состоят из слов. Но и смысл в стихах не может обойтись без музыки: если её не нужно, незачем писать стихи. Бессловесная музыка симфоний, фуг или сонат смысла и смыслов тоже не лишена, но её смыслы не нуждаются в словах и не могут быть переданы словами. Никакими словами; поэтические же никакими другими, кроме тех, какими их высказал поэт. Эта последняя аксиома нуждается, однако, в ограничениях и уточнениях. В любом стихотворении можно и должно различать смыслы слов и словосочетаний, воспринимаемые, в противоположность обыденной речи, нераздельно от их звука, и смыслы предложений, изогнутые, подчёркнутые, но не зачёркнутые интонацией и поэтому лишь оттенками отличающиеся от их “нормального” или “прозаического” смысла. Смыслы эти допускают парафразу или перевод, упраздняющий поэзию, но сохраняющий её канву, которая сама по себе поэзии, конечно, не образует. Канва эта у Пушкина, например, или Баратынского, при самом интенсивном звукосмысле, всегда налицо, но есть поэты, у которых она совсем или почти отсутствует, — оттого ли, что звукосмыслы слов и словосочетаний подчиняют себе, а то и вытесняют смыслы предложений (тем самым отдаляя синтаксис от обычной его функции, как у Малларме или, менее радикально, в ранних стихах Пастернака и поздних Мандельштама), или оттого, что интонация строчки, строфы, а при малом размере и всего стихотворения заглушает его логику, вернее, и родиться ей не даёт, заменяя её музыкой интонаций, смысла, конечно, не лишённой, но приближающей по его характеру смысл предложений (и целого) к звукосмыслу слов или словосочетаний, ещё не образующих предложений и тем самым причастных логосу, но не логике. Поэтом такого склада был Блок, как и с юности ему милый, да и позже неразлюбленный Фет, с той, однако, разницей, что Фет тематически прост, тогда как у Блока эта сторона являет и вширь, и ввысь, и вглубь совсем другую мощь и полноту.

В конце жизни он (Всеволоду Рождественскому) сказал: “Я прежде всего слышу какое-то звучание. Интонацию раньше смысла. Кто-то говорит во мне — страстно, убеждённо. Как во сне. А слова приходят потом. И нужно следить только за тем, чтобы они точно легли в эту интонацию, ничем не противоречили. Вот тогда — правда. Всякое стихотворение — звенящая, расходящаяся концентрическими кругами точка. Нет, это даже не точка, а скорее астрономическая туманность. Из неё рождаются миры”.

Запись эта драгоценна. Таким же образом — трудно в этом сомневаться — рождались и фетовские стихи. Сперва интонация. От слов только и требуется, чтобы они не противоречили ей (например, лексической окраской или слишком не подходящим к соседним словам предметным значением); так как ***только*** это и требуется, то даже и в старческих — самых лучших — стихах Фета иные слова кажутся выбранными невпопад (“попада” для них, ни такого, как у Баратынского или Пушкина, ни такого, как у Тютчева, вовсе, собственно, и нет), остаются нечёткими или безразличными по смыслу. Этого в первых двух томах и у Блока сколько угодно; позже, однако, интонация у него неподражаемым образом насыщается смыслом уловленных ею и впитанных в себя слов.

*Темно, и весело, и душно,
И задыхаясь, не дыша,
Уже во всём другой послушна
Доселе гордая душа!*

Это — Пушкин, ставший Фетом, или Фет, вселившийся в Пушкина.

*Прощай, возьми ещё колечко.
Оденешь рученьку свою
И смуглое своё сердечко
В серебряную чешую...*

Это — интонация неповторимой нежности, не просто нанизавшая на себя слова, всего лишь не противоречащие ей, но родившая из своих недр такие же неповторимо нежные слова, как она сама, — или рождённая ими: невозможно теперь и различить эти две различимые в принципе возможности. Так и получается “правда”, по выражению Блока, но ещё более правдивая, чем если бы она заключалась в одном только отсутствии противоречия между пением речи и смысловым звучанием образующих её слов. Не стихотворение — туманность (здесь формулировка Блока становится сбивчивой): оно рождается из туманности, которая поначалу почти ничего не значит, но поёт (определённым образом, не так, как будет петь другая) и лишь постепенно приобретает словами выраженный смысл, сливающийся с её бессловесным, музыкальным смыслом. Такое творение-рождение гораздо более сомнамбулично, чем улавливаемое, например, в пушкинских черновиках превращение метрической и тематической схем в смысловую музыку. Лучшими стихотворениями третьего тома (и очень немногими в предыдущих томах) достигается, однако, смысловая насыщенность, нисколько не уступающая интонационно-звуковой (чего у Фета никогда нет), и тем самым чёткость, не рассудочная, конечно, а поэтическая, но вполне противоположная тем не менее той первоначальной туманности, которую смысл, не расставаясь со звуком, полностью исчерпал, без остатка вобрал в себя.

Ранняя поэзия Блока (которой пережитки есть ещё и в третьем томе) не такова. Туманность в этих стихах поёт, отнюдь не приобретая полной смысловой прозрачности (измеряемой, конечно, позднейшими его стихами, а не близостью к внепоэтическому языку). Преодоление туманности при сохранении, а чаще всего и углублении музыки достигается Блоком только сквозь страшное напряжение всех душевных сил не в кабинетных каких-нибудь “муках творчества”, а в живом, жизненном мучении. Калёным железом, огнём, не щадя ни себя, ни самого ему дорогого, он иссушает, выжигает туман, достигает убийственно-горькой ясности. Юность, радость, невинность связаны для него с туманом, а с ясностью, как мы ещё увидим, безвыходный “страшный мир”. Уже в 1907 году он матери писал: “Чем хуже жить, тем лучше можно творить, а жизнь и профессия — он хочет сказать: призвание поэта — несовместимы”. Оттого и слышит он в напевах своей музы “роковую о гибели весть”; оттого и говорит ей: “Для меня ты мученье и ад”; оттого, хоть и радуется, услышав “лёгкий, доселе неслыханный звон”, хоть и “скуку смертельную” чувствует, пока его не слышит, но ждёт его всё же, чтобы его прикончить, “убить” — “Жду, чтоб понять, закрепить и убить”, — как убийство ощущает истребление смыслом или перерождение в смысл услышанной или увиденной внутренним оком звуковой и образной туманности.

*С моря ли вихрь? или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?*

В “Стихах о Прекрасной Даме” ответов поэт не искал, да и вопросов не задавал; туманность, из которой возникли те стихи, и сквозь них ещё баюкает и ласкает душу. Не оттого ли и любил он так эту первую свою книгу, не оттого ли и матери сказал в конце жизни (хоть были тут, как мы увидим, и другие причины): “Знаешь что? — я написал один ***первый том***. Остальные всё пустяки”. Отрекался он этим от вершины своей поэзии ради той первородной, подаренной ему “за гранью прошлых дней” туманности, из которой, однако, вся его поэзия и родилась. Отрекался от зрелости, от тех лет, когда пришлось ему сказать:

*Творческий разум осилил — убил,*

а потом закончить стихотворение такой неотразимо-певучей, но и неотразимо-безнадёжной, из интонаций скомпонованной жалобой:

*И замыкаю я в клетку холодную
Лёгкую добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.*

*Вот моя клетка — стальная, тяжёлая,
Как золотая в вечернем огне,
Вот моя птица, когда-то весёлая,
Обруч качает, поёт на окне.*

*Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять.
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду — и скучаю опять.*

Но что же такое, пора тут себя спросить, эти туманности, преодолеваемые эти туманности, из которых “рождаются миры”, то есть микрокосмы поэтических творений? Откуда сами туманности эти берутся или возникают? На это нахожу я один только ответ, грубый, но, кажется мне, верный: из сумбура. Сумбур — это та смесь чувств, ощущений и зачаточных мыслей, которая шевелится где-то на пороге или за порогом сознания во всех нас и может, не то сгущаясь, не то частично просветляясь, образовывать смутно ощутимые в своих контурах туманности (лучшего слова тут, пожалуй, и не найдёшь), чаще всего прогоняемые нами, когда нам нужно действовать или отчётливо мыслить, но для поэта, художника, музыканта драгоценные, более им нужные, чем все сокровища Шахеразады. Для них в этой слегка просветлённой или черней обозначившейся тьме уже мерцают образы, сцепляются слова, звучат зачатки мелодий. Хаос и космос — соотносительные понятия, и если космос лишь отражает космос, а не рождается из хаоса, это значит, что “творческий разум” оказался нетворческим или что космосу не из чего было рождаться. “Строить космос можно только из хаоса” — это слова самого Блока (в письме Е.П. Иванову от 3 сентября 1909 года). Он им, правда, придаёт дополнительный смысл, противополагая предлогу “из” предлог “на”. Строить **на хаосе** нельзя, потому что тогда хаос останется в том, что ты строишь; он даже обвиняет в заблуждении такого рода Толстого и Достоевского (совершенно несправедливо, конечно), противопоставляет их Пушкину. “После него, — пишет он, — наша литература перестала быть **искусством**, и всё, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским), — гениальная путаница”. В этом письме он мыслит, как не раз ему случалось, против себя: против **своей** путаницы, **своего** сумбура.

Для того чтобы “творческий разум” осилил туманность (или — по его чувству — “убил” её), надо, чтоб она**была**, а для этого нужен сумбур, место рождения всех туманностей, а значит, и всех из их преодоления возникших микрокосмов. Поэты о тумане и сумбуре, о докосмическом хаосе судят, и творчество их относится к нему по-разному. Пушкин о нём знает, Тютчев его воспевает, но ни в пушкинских, ни в тютчевских стихах хаоса нет. В стихах Блока всегда либо туманности, порождённые хаосом, пребывают, либо есть глухая тоска по ним (порой непосредственно и высказываемая в стихах). Мысль его почти всегда сумбурна, не отделена от чувств, страстных и пристрастных, требовательных в высшей степени, как это видно по его письмам, статьям, дневникам и не до конца “осиленным” стихам. Сумбурно мыслили среди его младших современников Пастернак и Мандельштам; само по себе это их, как поэтов, конечно, не умаляет, но и не возвышает по сравнению с мыслившими не сумбурно Ахматовой или Ходасевичем. Но случай Блока — особый. Ценою самоистязания, которого никакой литературной меркой измерить нельзя, он свой сумбур в лучших своих стихах победил, подняв эти стихи на высоту, не достигнутую ни одним, как бы высоко мы их ни ставили, из только что названных больших поэтов. Однако сумбур этот предопределил и скорбную его судьбу. Такую скорбную, что и думать о ней больно.

Есть малоизвестные, но очень стоящие внимания слова Бердяева о Блоке (по случайному поводу, в короткой статье парижского журнала “Путь”, № 26, февраль 1931 года):

“Блок — один из величайших лирических поэтов. По нему можно изучать природу лирической стихии. Когда мне приходилось разговаривать с Блоком, меня всегда поражала нечленораздельность его речи и мысли. Его почти невозможно было понять. Стихи его я понимаю, но я не мог понять того, что он говорил. Для понимания нужно было находиться в том состоянии, в каком он сам находился в это мгновение. В его словах совершенно отсутствовал Логос. Блок не знал никакого другого пути преодоления и просветления душевного хаоса, кроме лирической поэзии. В его разговорной речи ещё не совершалось того прекрасного преодоления хаоса, которое совершалось в его стихах, и потому речь его была лишена связи, смысла, формы, это были какие-то клочья мутных ещё душевных переживаний <...>. Мне всегда казалось, что у Блока совсем не было ума, он самый не интеллектуальный из русских поэтов”.

Как это часто бывает у Бердяева, в целом сказанное им убеждает, но в частностях раздражает, потому что высказано оно кое-как. Блок был умён; отдельные мысли его так, не целясь, попадают в цель, как Бердяеву и не снилось. И проницательность, и трезвость есть в его уме. Логос не был ему чужд, чужда была Ratio. Этого различия философу не следовало бы забывать. Но, конечно, **Бердяев** был философом, отнюдь не Блок. Он мыслил бессвязно. Туманностями чаще всего мыслил, внезапными озарениями, сгустками чувств. Мыслил тучами и молниями (недаром писал — довольно невнятно — о “Молниях искусства”), но при свете молний аксиом Евклида не выверишь и связных умозаключений не построишь. Не то чтобы он Логос принёс в жертву Мусикии, но “творческим разумом”, логосом только в ней, только в стихах сумбур преодолевал. Да и то не всегда. Тут Бердяев прав. А когда стал проясняться после “Двенадцати” сумбур его зрелых лет, когда не в стихах уже, когда, утратив стихи, пришлось ему расплачиваться за него, тогда и затосковал он о молодом, о розовом сумбуре своей первой книги.

Не о том сумбуре тосковал, в чьём сумраке родились лучшие его стихи, о другом, юношески-светлом, “осиливать”, “убивать” который ещё ни сил, ни желания у него не было. Не о том времени жалел, когда вырвалось у него: “Чем хуже жить, тем лучше можно творить”, жалел об иллюзорном, розово-сумбурном слиянии действительности с мечтою. В девятьсот девятом году, на пороге полной своей зрелости, написал он, чего не написал бы, скажем, в девятьсот втором:

*Светлой ангельской лжи не знавал я отрав,
Не бродил средь божественных чащ...*

Стихотворение это (слабоватое для третьего тома) кончается так:

*И когда вам мерцает обманчивый свет,
Знайте — вновь он совьётся во тьму.
Беззакатного дня, легковерные, нет,
Я ночного плаща не сниму.*

Но ведь не родился он в ночном плаще, и далеко не сразу — окончательно лишь в “Ночных бесах” — облёк в него свою поэзию. Теперь (стихотворение написано в январе) он как бы заранее от себя отстраняет те христианско-языческие образы земного рая, которые весной того же года предстанут ему в Умбрии, в Тоскане и у живописцев раннего Возрождения. Напомнят ему, однако, иные из них то, о чём вспоминать он в этих стихах не пожелал: первый его сборник, где “светлой лжи”, хоть и едва ли беспримесно ангельской (и, конечно, не называвшей себя ложью) было столько и так радостно она сияла, что не одна **его** душа в сиянии этом купалась и немеркнущим готова была его счесть. Но если “Боря” и “Серёжа” (то есть Андрей Белый и Сергей Соловьёв) ощутили “Балаганчик” как вероломную измену той книге и всему полувысказанному или несказанному, что было за ней, — их мистическому тройственному союзу, Любови Дмитриевне (“Л.Д.М. своею кровью // Начертал он на щите”) — целомудренно-высокому (хоть и очень искусственному в своей основе) образу любви, то и сам поэт этот свой первый драматический опыт точно так же грехопадением ощутил, приписал его замысел своему внутреннему “департаменту полиции”, то есть чему-то в его собственной душе сатанински враждебному лучшим её помыслам, видениям и порывам.

**Там, где было белое зданье**

Мы склонны теперь, когда читаем относящиеся ко всему этому письма, стихи или воспоминания, пожимать плечами и улыбаться; насчёт Серёжи и Бори мы отчасти, быть может, и правы, но поэзию Блока мы наполовину зачеркнём, если откажемся принимать всерьёз её внелитературную основу. Если же мы поэзию эту ценим и любим, как она заслуживает быть любимой, то, наткнувшись среди “Стихов о Прекрасной Даме” на <...> “Люблю высокие соборы...”, мы, как бы ни старались, не сможем полностью отделить лирическое “я” этих стихов от человеческого “я” их автора. Невольно мы его голос слышим, “вменяем” ему, на совесть его полагаем эти не совсем ещё “департаментом полиции” внушённые, но уже “лиловые” или “пурпурово-серые”, по другой его терминологии, стихи — 1902-го как раз, а не девятого года, как не отделяем и “ангельских” от его — не поэтического только, но и человеческого — облика тех лет.

*Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать,
Входить на сумрачные хоры,
В толпе поющих исчезать.
Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.
И тихо, с изменённым ликом,
В мерцаньи мертвенном свечей,
Бужу я память о Двуликом
В сердцах молящихся людей.
Вот — содрогнулись, смолкли хоры,
В смятеньи бросились бежать...
Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать.*

Лубочно-буквального истолкования стихи эти, конечно, от нас не требуют. Будь они написаны по-итальянски, я не одобрил бы итальянцев, которые, завидев издали их автора, стали бы делать жест двумя пальцами (рожки дьявола!), повёрнутыми вниз. Но я понял бы, из каких побуждений они так поступают, как и понял бы, почему Кардуччи, написавший “Гимн Сатане”, вовсе, насколько мне известно, этого жеста со стороны своих соотечественников не опасался. Кардуччи был знаменитым стихотворцем, профессором Болонского университета и легендарным обжорой в конце долгой своей жизни. Блок и в стихах, и в жизни, и в смерти был поэт.

В те годы не он один смешивал или воедино сливал поэзию и жизнь, но лицедейства, как другие, к ним не примешивал. Ещё и пребывая в розовом сумбуре, готов был за него ответить головой. И когда вокруг — или в нём — потемнело, не изменился.

“В моей смерти прошу никого не винить. Причины её “вполне отвлечённы” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют. Верую во единую святую соборную и апостольскую Церковь. Чаю воскресения мёртвых и жизни будущего века. Аминь. Поэт *Александр Блок*”.

Записка эта была заготовлена 7 ноября всё того же 1902 года перед решительным объяснением с Любовью Дмитриевной. Объяснение, однако, принесло не отчаяние, а радость, что было запечатлено восторженной записью в дневнике, тотчас набросанными не вполне удавшимися стихами и — на следующий день — стихотворением, открывающим в первом томе заключительный его раздел “Распутья”, но снабжённым немного погодя в рукописи отнюдь не святым, не соборным, не апостольским (и зачёркнутым позже) заглавием “Прекрасная Дама”: “Я их хранил в приделе Иоанна, // Недвижный страж, — хранил огонь лампад”, начинается оно, напоминая лишний раз о не угасшей и через много лет Сашиной любви к зажиганию лампадок, а затем возвещает: “И вот зажглись лучом вечерним своды, // Она дала мне Царственный Ответ”. Из чего явствует, что Люба Менделеева, девушка, даже и по снимкам судя, отчётливо земная (не нашлось бы в те годы, в том кругу и одной на десять столь земной), не только нарекалась Прекрасной Дамой, по примеру рыцарских времён, но и отождествлялась с небесным всех прекрасных дам прообразом. Прописные буквы, впрочем, и без того об этом говорят, как и те, что им вторят в “Царственном Ответе”, давая понять, что ответчица — сама Царица Небесная. Не теперь, а десять лет спустя в обращении к Музе будет помянуто: “И когда ты смеёшься над верой, // Над тобой загорается вдруг // Тот неяркий, пурпурово-серый // И когда-то мной виденный круг”; но, быть может, именно теперь, или раньше, в апреле того же года, “с изменённым ликом // В мерцаньи мертвенном свечей” поэт и увидел впервые этот ночной, а главное, смутный и мутный ореол...

Во всяком случае, хоть и благополучно кончилось объяснение, хоть и улетучились столь нередкие в эти месяцы самоубийственные мысли, а всё ж, если в двенадцатом или в девятом году утвердиться и поглядеть назад, не совсем беспредметными покажутся за два дня до объяснения написанные стихи, невесту предполагающие потерянной, записку (“В моей смерти прошу...”) не отменённой, да и как раз такое “оглянись” имеющие в виду (роковое, правда, Орфея, а не просто печальное, памяти). Начинаются они так: “Дома растут, как желанья, // Но взгляни внезапно назад: // Там, где было белое зданье, // Увидишь ты чёрный смрад”, и можно пророческим счесть это начало. Не то чтобы в зрелые годы Блок хоть раз увидел чёрным “белое зданье” своей юности или смрад почуял в тогдашнем розовом сумбуре, но со стороны глядя, понять легко, что “Царственный Ответ” не на небесах прозвучал и не для небес, и что как раз сквозь это его насильственное водворение в небеса и обозначились вдали первые очертания чего-то совсем непохожего ни на беспечальное житьё в сельце Шахматове, ни на эти юные, хоть и сумбурные, хоть и мнимо-небесные мечты, чего-то, что и мучить его будет, как не мучился он ещё, и стихи заставит писать, каких он ещё не писал, — первые, едва угадываемые очертания “страшного мира”.

Через два с половиной месяца после “царственного ответа” и меньше чем через месяц после принятия родителями невесты официального предложения было невестой (29 января 1903 года) написано жениху: “Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны стало ясно, до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете <...> Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека с живой душой, и не заметили, проглядели”. Перехожу к заключению — биографии Блока не пишу. “Да, я вижу теперь, насколько мы с Вами чужды друг другу, вижу, что я Вам никогда не прощу то, что Вы со мной делали всё это время — ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне было холодно, страшно и... скучно”. Послание возвещало разрыв, и хоть не послала его Любовь Дмитриевна, хоть и простила, да всё-таки и не простила — до самой смерти, на много лет мужа пережив; и зная (приблизительно), как позже сложилась их жизнь, упрекнуть её в этом никто не имеет права. Всё дальнейшее: и выдумки (включая Серёжу и Борю), и жалостная правда (того же Борю включая и других не на авансцене действовавших лиц, в том числе и восемь дней прожившего младенца, умершего 10 февраля 1909 года), было предугадано этим непосланным письмом. Хоть и позже, но Блок его всё-таки прочёл. Писал ей: “Ты напрасно думаешь и теперь, что бывают у меня дни отвлечённые и реальные. Бывают более отвлечённые <...> Но никогда, раз навсегда клянусь тебе, я не в силах уйти ***в полную отвлечённость***. Я ***никогда*** не забуду, что ты живая и молодая, такая как ты есть перед глазами в простом человеческом сердце моего существа”.

Не заключалось в этом никакой неправды, только легче от этого не было и не стало никому. То, о чём в послании непосланном обезоруживающе простодушно было сказано: “Ведь я даже намекала Вам: надо осуществлять”, так и не осуществилось. В мае 1903 года поэт невесте сообщал: “Опять приходил “Он” (чёрт?) и пугал. Он был неотвязен. Вчера показался мне простым, грустным и мутным”. Замутился розовый сумбур. Смутным стало то, что могло быть ясным, даже если ясным ещё и не было. Ясность взаимной простой любви (простой по-иному, чем тот: посетитель был прост) Блок, не сознавая этого, конечно, принёс в жертву своей поэзии. Поэзия его питалась сумбуром — розовым, помутневшим, всё более мутным, мрачным, чёрным; ясностью счастливой любви она питаться не могла. “Чем хуже жить, тем лучше можно творить” — через четыре всего года будет найдена эта формула, а ещё через два года, после новых бурь и бед — ведь не одним лишь счастьем жены пожертвовал он, но и своим — обретёт он уже или на пороге будет, чтобы обрести, свою полную поэтическую зрелость.

Заплатил он за неё, и тяжестью этой платы многое было определено в лирических темах зрелой его поэзии. “Нет. Над младенцем, над блаженным, // Скорбеть я буду без Тебя”. Стихотворение, кончающееся этим вызовом, относится к похоронам того самого любимого ребёночка, Сашей принятого, объявленного своим, который на свете прожил так недолго. Он в страшном мире умер, в том, где уже все стихи второго тома были написаны и где через несколько лет напишет Блок неизвестно для кого (запись эта была опубликована без пояснений совсем недавно) на обороте визитной карточки твёрдым своим почерком, но с особенно резким нажимом пера: “Пусто, дико, страшно, бездомно и от старости спасения нет”. Напоминает мне этот его возглас рассказ очевидца о том, как однажды подошёл поэт к трактирной стойке, залпом выпил стакан и упал без чувств. Если бы теперь решил он на столе записку оставить, вроде той — 1902 года, наверняка бы он туда ни слова из символа веры не вписал. И тот образ Приснодевы, искони непосредственно ему более близкий, чем образы Сына и Отца, и светящийся всё же сквозь всю лиловеющую муть его первой книги, его юной жизни, теперь заволакивается другой, тусклой и запятнанной, пеленой. Среди итальянских стихов того же 1909 года есть два (да и в меньшей мере ещё два) весьма отчётливо близких к мотивам “Гаврилиады”, которую Пушкин не в зрелые годы писал (и дорого бы в зрелые годы дал, чтобы написана оказалась она не им). Да и не расшалившиеся это стихи, а упрямые, рьяные, как румынский скрипач в кабаке у столика, изгибающий стан, нажимающий на смычок: “Он поёт и шепчет — ближе, ближе, // Уж над ней шумящих крыл шатёр...” (Другое стихотворение содержало строчки, изъятые Блоком из третьего тома и совсем уж надуманно-оскорбительные.) Когда Сергей Соловьёв, бывший друг Саши и Бори, паладин вместе с ними неземной и земной Л.Д.М., прочитал это “Благовещение” в “Ночных часах”, был им поражён и сказал об этом Блоку, тот, по словам его, “мрачно ответил”: “Так и надо. Если бы я не написал “Незнакомку” и “Балаганчик”, не было бы написано и “Куликово поле””. Сумбурен этот ответ. Ни о “Балаганчике”, ни о “Незнакомке” Блока не спрашивали. Никакого отношения не имеют ни они к “Благовещению”, ни “Благовещение” или они к “Куликову полю”. Верно тут лишь оставшееся несказанным “Чем хуже жить, тем лучше можно творить” (пусть и при некоторых частичных изъянах самого творчества). Верно, что без второго тома не было бы и третьего, и без погружения в страшный мир — лучших стихов Блока.

**Страшный мир**

“Страшный мир! Он для сердца тесен!” Читаешь, читаешь, отложишь потом квадратную маленькую книжечку, закроешь глаза, одну эту строчку ещё шепчешь, потушишь свет, посидишь в темноте. Как давно она с тобой, эта книжка, и ведь не было такого года, полугода, чтобы ты её ни разу не раскрыл. Прежним почерком, почти уже не твоим, на ней написано: “Петербург. 1 сентября 1921”. Желтоватая бумага по краям стала красно-коричневатой. Призрачная немного от вспышки магния фотография, снятая Наппельбаумом. Не прошло и двух недель после похорон, как выпустил Алянский это третье издание третьего тома. Плохо мне его переплели. Получилось нечто вроде записной книжки — без заметок. Боже сохрани, ни страничка не запачкана: стихов я этим не обижаю.

“Страшный мир! Он для сердца тесен!” Вырвал я этот стих у Блока из его сплетенья, из тёплого его гнезда. Не простит мне этого “Валентина, звезда, мечтанье” (показали мне её вскоре после похорон, мягинькую, серенькую, уже потухшую)...

*Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нём твоих поцелуев бред,
Тёмный морок цыганских песен,
Торопливый полёт комет!*

Важно, что и поцелуи, и песни, и всё вообще “в нём”, всё в этом страшном мире или просто в мире, в нашем мире, всё, включая торопящиеся эти кометы. От одной из них беды не ждали, зато другая внушала опасенья и немножко разочаровала Блока тем, что не сумела их оправдать. Многие, конечно, склонны будут утверждать, что страшным был и остался не **мир**, а только мир, явленный поэту Блоку или пусть даже Блоку без разделения в нём поэта и человека, во всяком случае **его** мир, а не наш. Или есть ещё другое мнение, общеобязательное нынче на его и нашей родине, утверждённое государственной властью, защищаемое армией и полицией? Согласно этому, ни твоему, ни моему, но всех верноподданных мнению, мир и в самом деле был страшен до октября 1917 года, после чего вовсе перестал быть страшен на территории, этой власти подвластной, и стал менее страшен за её пределами, вследствие надежды на расширение этих пределов. Блоку и самому померещилось нечто в этом роде, хоть и при полном отсутствии мыслей о государстве, армии или полиции, тогда же, в семнадцатом году, мерещилось и в начале восемнадцатого, когда он писал “Скифов” и “Двенадцать”, быть может, и ещё некоторое время, но всё слабей, а затем, года за два или полтора до смерти — трудно сказать в точности когда — и вовсе мерещиться перестало.

**Печатается по изд.: *Вейдле В.* После “Двенадцати”:
приношение кресту на могиле Александра Блока.
Париж: ИМКА-ПРЕСС, 1973. С. 21–40.**